



Поездка на Святки

Евгений Гагарин
Повесть

Серия «Рождественский подарок»

12+

Рождественский подарок

Евгений Гагарин
Поездка на Святки

«Никея»

1953

УДК 821.161.1
ББК 84(0)+86.372

Гагарин Е. А.

Поездка на Святки / Е. А. Гагарин — «Никея»,
1953 — (Рождественский подарок)

ISBN 978-5-91761-610-0

Повесть о том, как гимназист Андрей Воронихин едет на рождественские каникулы к родителям в деревню. Приключения долгой зимней дороги, радость встречи с семьей, первая влюбленность, празднование Рождества, охота на медведя — и это еще не все впечатления от долгожданной поездки на Святки. Мальчик видит, как в деревню возвращаются солдаты с фронтов Первой мировой войны, а с ними приходит «предчувствие какой-то беды, а может, и гибели. То были уже не грядущие, а пришедшие хамы, разрушавшие святость семьи, мирный, давний быт, народный эпос».

УДК 821.161.1
ББК 84(0)+86.372

ISBN 978-5-91761-610-0

© Гагарин Е. А., 1953
© Никея, 1953

Содержание

Предисловие	6
Поездка на Святки	7
I	7
II	11
III	14
IV	17
V	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Евгений Гагарин

Поездка на Святки

*Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС
Р16-612-0478*

Художник Анна Кольцова

Предисловие

Евгений Андреевич Гагарин родился 12 февраля 1905 г. на севере России – в Архангельской губернии. Отец его был управляющим большим казённым лесным имением. Близость к природе оставила неизгладимый след в душе мальчика. Суровая величественная красота природы, среди которой он рос, – один из вдохновляющих истоков его творчества, один из основных питающих его корней, тесно связанный с воспоминаниями детства и ранней юности.

Десятилетним мальчиком Гагарин поступил в гимназию и жил в Архангельске, лишь на рождественские и летние каникулы приезжая к родителям в деревню. Он окончил гимназию уже при большевиках и поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета. Но в университете Гагарин проучился всего один год и должен был в середине 1920-х гг. вернуться на север России к матери, так как отец к тому времени умер, и Евгению пришлось работать (по лесному делу), чтобы кормить мать и младшую сестру. Жил он в Архангельске, но много ездил по всему северу России. Во время своих служебных поездок он близко познакомился со многими сторонами советской жизни: с бездушной бюрократической машиной, с умиранием, или, вернее, систематическим разрушением, деревни (бывшей до большевиков такой зажиточной, своеобразно самостоятельной и самобытной в северном крае), с варварским уничтожением большевиками лесных сокровищ России, с рабским трудом народа. Особенно поразило его положение сотен тысяч несчастных раскулаченных русских крестьян, насильственно перевезённых на север.

Отсюда непримиримая вражда Гагарина к большевизму. Он знал русский народ, знал зажиточную, полную традиций и своеобразного уклада жизнь Русского Севера и возненавидел раз и навсегда её разрушителей. Это – второй вдохновляющий, основополагающий мотив его творчества.

В 1933 г. вместе с семьёй его жены, Веры Сергеевны Арсеньевой, ему удалось выехать за границу, благодаря усиленным хлопотам британского правительства (у Арсеньевых были влиятельные друзья и родственники в Англии).

Гагарин жил в Германии, но ездил и в другие страны – Францию, Англию, Италию и Голландию. Целый год учился в Бельгии на философском факультете Лувенского университета, занимаясь главным образом историей искусств. После этого окончил лесную академию в Эберсвальде и получил место в Международной организации по изучению лесов, имевшей тогда главную квартиру в Берлине. Это давало Гагарину возможность даже в самые тяжёлые годы нацистского режима быть в контакте с представителями других стран, особенно Швейцарии. За границей Гагарин провёл 15 лет. В октябре 1948 г. в Мюнхене он погиб (был сбит грузовиком).

Гагарин много писал – и статьи о России, о большевистском терроре, и новеллы, и большие книги. Писал он по-русски, потом и по-немецки, его статьи о России печатались в переводах на английский, французский, голландский и скандинавские языки. Он чувствовал себя одновременно и свидетелем того, что происходит в России, и художником. Обе эти черты сливались в одну: это было свидетельство, пронизанное любовью и тоской воспоминаний, воплощённое в художественный образ. Это делает его творчество особенно ценным.

Николай Арсеньев

Поездка на Святки

I

Во время большой перемены во дворе гимназии появился – помню – сторож Матвей и, выйдя на середину, приложил ладони ко рту, силясь перекрыть наш шум, – у нас же шёл снежный бой. Был Матвей маленького роста, тщедушный, со слабым голосом, сердцем необыкновенно добрый и не пользовался у гимназистов никаким уважением; не верилось, что он служил когда-то в солдатах, участвовал в Русско-японской войне, получил Георгия за храбрость и даже был ранен и сидел в плену. И теперь никто не обращал внимания на его усилия: по-прежнему свистели комья снега и кто-то даже запустил в самого Матвея; ком с треском лопнул, ударившись об его голову. По двору понёсся хохот. Матвей подумал и затопал ногами. На минуту всё стихло, и, воспользовавшись тишиной, он закричал поспешно:

– Воронихина с третьяго классу – к господину инспектору!.. Без промедления!..

У меня дрогнуло сердце. Вызов к инспектору обыкновенно не означал ничего доброго. Но что грозило мне?.. На моей душе было много грехов: тайное чтение посторонних книг во время уроков, участие в драке с реалистами, курение за шкафом в раздевалке, кнопки на стуле учителя немецкого языка Карла Петровича... «Что дошло до его сведения? И как раз перед рождественскими каникулами!» – размышлял я с тоской, поправляя на ходу мокрые, торчащие волосы и стряхивая снег с куртки и штанов... «Доносчик, без сомнения, это Козёл, – подумал я со злобой о добрейшем нашем старом классном надзирателе Петре Ивановиче, – хочет лишить меня каникул...»

Матвей шёл впереди, бормотал что-то себе под нос и от времени до времени оглядывался на меня – злорадно, как мне казалось. Перед столь знакомой мне обитой кожей массивной дверью в инспекторскую Матвей остановился и сказал шёпотом:

– Погоди маленько, сейчас спрошу.

Он робко приотворил дверь и, весь согнувшись, протискался сквозь щель.

Инспектором нашей гимназии был молодой историк Николай Петрович, кумир всех городских дам и гимназисток из женской гимназии напротив, что было особенно возмутительно. «Просто цапля со слепыми глазами», – думал я о нём, не без трепета стоя у двери. Мои мокрые, никогда не ложившиеся волосы сейчас торчали, несомненно, ещё ужаснее, пылавшее лицо, вероятно, лоснилось от пота... А брюки внизу были все мокры от снега, носки ботинок побелели... «Пропал, – подумал я горько, – совсем пропал...»

Дверь между тем отворилась, Матвей появился на пороге и, осмотрев меня неодобрительно, с укоризненным сожалением молча пропустил внутрь. В кабинете инспектора, обставленном тёмной кожаной мебелью и ещё какими-то предметами – у меня никогда не хватало ни времени, ни духу осмотреться, ибо бывал я зван сюда только по плохим делам, – пахло, как всегда, лёгкой смесью табаку и духов. Это ещё больше восстановило меня. «Как баба!» – подумал я. Отец говорил, что уважающие себя мужчины не должны душиться. Ни один англичанин никогда не душится, прибавлял он, как будто против этого и возразить было нечего. Но, очевидно, он был прав, потому что я никогда не находил, что бы ему возразить.

– Воронихин! В каком ты виде! – закричал инспектор, увидя меня.

– Упал в снег, господин инспектор! – пробормотал я, стараясь встать за этажерку с книгами так, чтобы хоть не было видно моих ног, и думая: «Пронеси, Господи! Авось ничего страшного».

– Упал в снег! По-моему, ты в кипяток упал – как разваренный рак, красный. У тебя не голова, а помело! Хорош!

Он отвернулся вдруг от меня, подошёл к низкому окну, похожему на нишу, и остановился.

За окном падал редкий снег, а в этой белой сетке бились, коротко вспыхивая, солнечные лучи, и мне вдруг невероятно ясно вспомнился наш дом в деревне, наш сад в снегу и как иногда, припав лицом к стеклу, я долго в одиночестве стоял в зале, смотря на медленно падающие хлопья, на синиц, прыгавших под чёрными кустами... Совсем недавно я получил из дому письмо и считал теперь дни до рождественских каникул. Оставалось всего десять дней – и неужели теперь всё пропало?.. Инспектор стоял и молчал. Может быть, всё-таки ничего страшного или же очень страшное, раз он так долго молчал?.. «Может быть, исключат из гимназии? – пронеслось вдруг в моём мозгу, и радостная жуть охватила меня. – Если исключат, то можно будет совсем уехать домой, в деревню; однако что сказал бы тогда отец!..» Я так поник в свои думы, что совсем забыл, где стоял, и чуть не потерял равновесия; инспектор оглянулся, лицо и глаза его выражали изумление, будто он очнулся от сна.

– А, ты ещё здесь... – проговорил он медленно. – По просьбе твоих родителей отпускаю тебя на неделю раньше на каникулы. Завтра получишь дневник, за поведение – три. Что рот раскрыл?! Кругом, марш!.. Перед отъездом явишься ко мне!..

Всё это случилось так быстро, было вообще так невероятно, что я сидел как блаженный до конца уроков. Оставались ещё урок немецкого языка и рисования, но из того, что объяснял Карл Петрович, я ни слова не понял, старался только не сводить глаз с его лица – он требовал этого. Лучшими учениками были у него те, кто весь урок, не отрываясь, смотрели ему в рот, и едва кто-нибудь отводил глаза, он свирепел и кричал: «Смотрите на меня!»

Был он потехой и мучеником всей гимназии, этот рыжий, длинный и, в сущности, добрый и несчастный еврей, от которого сбежала жена, оставив ему ребёнка; утверждали, что он сам сажал его на горшок. Чувствовал он себя, вероятно, всегда как травимый зверь. В особенности не выносил его наш француз М. де Комб, ярый патриот Франции, эстет и сумасшедший. Проходя мимо Рабиновича, он корчился от ярости и шипел: «Жид!.. Бош!..» – что доставляло нам великое удовольствие; вообще по мере сил мы делали жизнь несносной этому бедному еврею. Он всегда подозревал очередную гадость, и это «Смотрите на меня» было лишь самозащитой. В тот день я весь урок не сводил с него глаз: нельзя было рисковать попасть на замечание, а кроме того, мне было почему-то жалко его, – жалко, что он еврей, одинок и сам сажает сына на горшок, а больше всего, что ему не к кому ехать и на Рождество он останется, как и всегда, в городе. Это казалось мне невероятным, ужасным.

В пансионе вечером я нашёл новое письмо из дому. Писали, что через неделю вышлют за мной лошадей, выедет Егор – наш кучер.

До ближайшей станции железной дороги было от нас шесть суток езды; там он меня должен был встретить и снять с поезда.

Владела пансионом, где я жил вместе с двумя другими гимназистами, немка Амалия, старая дева. Это была типичная хозяйка немецкого пансиона, рабыня своих вещей, существо невыносимое. Мы не смели у неё долго сидеть в креслах, ибо протирался плюш; мы должны были снимать у порога обувь, чтобы щадить пол; мы не имели права вешать в комнатах картины или фотографии, ибо это портило обои. Что мы могли – трудно сказать. Два других гимназиста были постарше меня, и она ежедневно писала им записки, непременно начинавшиеся словами: «Bitte nicht...»¹ Боже, какое это было пошлое, самодовольное, непоколебимо уверенное в своей правоте существо!.. Больше всего на свете она любила деньги, кофе и уборку комнат. Сквозь стену мы слышали, как каждый вечер она распекала свою прислугу за расходы, громко вздыхая: «Ach, so viel Geld! Ach, das schöne Geld!»²

¹ Пожалуйста (нем.).

² Ах, сколько денег! Ах, милые денежки! (нем.)

Кормила нас, однако, отвратительно: изо дня в день битками из дешёвого фарша, наполовину замешанного хлебом и картофелем. Кофепитие было для неё священнодействием; отхлебнув глоток, она издавала от блаженства протяжный звук вроде «м-м-м...», глубоко всасывая воздух. Россию она презирала больше всего за то, что здесь не принято было приносить с собой в кофейные для заварки собственный кофе (*Kaffe briihen lassen*), и потому он стоил здесь «*So viel das schöne Geld*»³.

Раж её во время уборки комнат был беспределен. Она была готова умертвить нас за малейшее пятно, за сдвинутый стул, и никакими мольбами – даже во время болезни – мы не могли получить позволение дольше остаться в постели. Как я был рад хоть на две недели сбежать от этой прусской добродетели, от этих рачьих зелёных глаз, от этих седых беклей, от мясистого тела!.. Весь вечер я укладывал свой чемодан, замыкал его на ключ и вновь открывал, пересматривая вещи – не забыть бы чего-нибудь. Амалия вдруг необыкновенно ко мне подобрела – входила поминутно в комнату, гладила меня по голове, к моей великой досаде, и не сделала замечания, когда я взял к вечернему чаю два куса сахара вместо одного. Три недели комната будет пустой, меньше уйдёт света, не будет портиться мебель, а плата всё та же, за полный пансион – как Амалии не радоваться!.. Она уже дала мне письмо к моим «*liebe Eltern*»⁴, где нижайше поздравляла их с «великий праздник Рождество и щастливый Новый год» и униженно просила прислать ей из деревни «провианту, чтобы лучше питают ваш сын». Из «провианту», что присылали ей из дому, нам мало что перепало, а Амалия была убеждена, что она нам как «заботливый мать».

Ночью я долго ворочался без сна, распределяя деньги на подарки. В месяц мне полагалось 10 рублей карманных денег. Сюда входили трамвай, почтовые марки, кино, церковь и всё другое. Из этих же денег я должен был выкроить и на подарки. Всем у меня было уже припасено, не хватало на коньки приятелю, Ване Бандуре; писал он мне из деревни, что у всех есть коньки, а у него одного нет, и, видно, хотелось ему их иметь страшно. У матери Бандуры – отец его давно умер – была самая бедная изба в деревне. И, стыдись, я вспоминал, что мог бы отлично сберечь на коньки, если бы реже покупал шоколад у татарина. Татарин Ахмет держал лавку как раз на пути в гимназию. «Золотой ярлык» стоил у него 10 копеек – невозможно было устоять! Так я и проел деньги, оставив без коньков друга!.. Были у меня для него лишь всевозможные крючки для удочки, – летом мы на целые ночи уходили вместе удить.

А утром выпал ясный, звенящий от мороза день. Городской сад, мимо которого я ходил в гимназию, стоял весь в пепельно-жемчужном дыму, стволы берёз были точно из розового мрамора, и опушённые инеем деревья казались охваченными белым пламенем – были как пылающие белые костры. И воздух так живительно-колюче, обжигая, входил в грудь; остро пощипывало щёки и уши, но я ни за что не хотел потереть их руками – это было бы так не по-мужски!

Я быстро бежал по мостовой, и всё было на мне как-то особенно ладно сегодня: и моя новая гимназическая шинель с барашковым воротником, и лёгкие шевровые ботинки – даже в тридцатиградусный мороз нам запрещали надевать калоши. Среди пустых улиц особенно звонко стучали шаги по обледенелому тротуару, и я чувствовал необыкновенный подъём сил, в особенности когда обгонял гимназисток, парами шедших в гимназию. Мне казалось, что я слышу, как они шепчутся за спиной обо мне, и сердцу моему становилось жарко – столь стройным и молодцеватым я себе представлялся. И я уже думал о том, какое произведу впечатление дома, как будут оглядываться, когда, в шинели с блестящими пуговицами, я пройду сквозь ряды в церкви...

Поезд уходил вечером. Вокзал лежал на другом берегу реки; едва стало смеркаться, как я пошёл брать извозчика. Они стояли на площади у собора. Одного из них я давно облюбо-

³ Так много милых денежек (*нем.*).

⁴ Милым старикам (*нем.*).

вал. Его звали Ефимом. Был он чёрен, как цыган, с красивой курчавой бородой и необыкновенно диким голосом. Он был часто пьян и гнал тогда лошадей во всю мочь, привстав на сиденье, круто натянув вожжи. Снег брызгал из-под полозьев со свистом, как вода. «Только бы он сегодня был там!» – думал я. Мне повезло: я нанял Ефима, и он был уже навеселе. И когда я вскочил в маленькие сани на железных узких полозьях и уселся в задок, покрыв ноги полостью, а Ефим, гикнув, понёс меня по улицам города, где уже горели огни, мне показалось, что жизнь прекрасна, что все смотрят на меня, – я чувствовал себя героем.



II

До отхода поезда оставался ещё час, но всю дорогу тревожно билось сердце – а вдруг опоздаем или не останется мест. Говорили, что поезда переполнены военными, расписания не соблюдают. И, выглядывая из-за спины Ефима, я с напряжением смотрел во тьму, в снежный дождь, рвущийся из-под копыт, – где-то далеко, на том берегу, висело над землёй светлое пятно, как зарево. Это был вокзал.

И вот мы лихо вкатываем на берег, совсем запрокидывая сани набок, и осаживаем у деревянного здания вокзала; кругом – тьма, лишь из окон течёт чахлый жёлтый свет. «Н-но!» – дико кричит Ефим и соскакивает с облучка. «Рубль на водку, лихо ехал», – порываюсь сказать я, но у меня выходит одно какое-то неловкое бормотание, и, торопясь и нервничая, хотя совсем нужды нет, я ищу кошелек, а он, как на зло, куда-то запропастился: ни в том, ни в другом кармане. «Доброго пути!» – говорит Ефим на прощанье.

Билет куплен, и я вхожу в зал первого и второго классов, стараясь придать себе независимый и взрослый вид, перебороть робость: первый раз я самостоятельно еду по железной дороге. А в зале – неожиданно яркий свет, пахнет кухней, жареными котлетами, шипит и свистит на стойке огромный медный самовар, за стеклом на блюдах – нежная, воспалённо-розовая ветчина, всяческие колбасы, сыры, сёмга, икра и всякая всячина. Носятся половые, взмахивая как-то по-особенному, сбоку, салфеткой, изгибаясь перед гостями, и мне кажется, что все столы заняты и что на меня все смотрят с недоумением. Сажусь я за первый попавшийся столик в углу, где меня совсем не видно. Сажу я, и мне хочется, чтоб подбежал лакей и я мог ему крикнуть: «Услуживающий!» – как зовут его громко вон те купцы за столом, пьющие водку. Но ко мне никто не подходит, а я не решаюсь крикнуть и так и сижу, всё держась рукой за свой саквояж, – говорят, на дорогах теперь много крадут. Когда, по-моему, уже пора уходить, вдруг склоняется надо мной лакей и, обмахивая стол, не смотря на меня, спрашивает: «Прикажете-е?...» И я поспешно, в смущении, сам не зная отчего, заказываю: «Пожалуйста, стаканчик чаю с пирожком», – и весь заливаюсь краской: вероятно, лакей презирает меня за этот пирожок!.. И как раз перед самым отходом поезда!.. Обжигаясь, я пью чай и поминутно поглядываю на часы – уже пора. А снаружи полная тишина. Потом вдруг раздаётся лязганье, визг колёс и дыханье огромного зверя, надрываясь, кричит что-то человеческий голос, – я не выдерживаю и выскакиваю на перрон.

Поезд подали. Но вагоны ещё темны, двери заперты, и я долго жду, пока отопрут. Крыши и бока вагонов густо, космато обросли снегом, обледенели; весь поезд кажется огромным мохнатым зверем, только что прорвавшимся сквозь снежную чащу. Из-под вагонов рвёт холодный, пронзительный ветер, вздымая веером снег, впереди долго, с криком грузят багаж и почту, проходит, кажется, вечность, пока раздаётся первый звонок. Бьёт он долго, протяжно, но на перроне по-прежнему темно, сравнительно пусто, только у третьего класса толпятся мужики и бабы с мешками на спинах, с чайниками, с огромными корзинами. Они теснятся около дверей, минуют друг друга и лезут в вагоны, гремя чайниками, а проводники орут: «Стой, обожди, черти!» И меня тоже берёт оторопь, хотя у вагонов второго класса ещё никого нет.

Проводник в чёрном пальто со светлыми пуговицами, в барашковой шапке лениво прощёлкивает билет, а в вагоне много мест оказываются, к моему удивлению, уже занятыми – надо было, очевидно, дать заранее проводнику «на чай». Но теперь мне всё равно: я в вагоне, значит, поеду, главное было – сесть, в крайности, можно и постоять... Этот трепет перед посадкой и покорность на муку во время дороги никогда уже не оставляли меня с тех пор, как, вероятно, всякого пассажира в послевоенной России.

Бьёт второй звонок, и в проходе вагона начинается столпотворение: поминутно, разом во всех купе, открываются двери – никто не сидит спокойно, все теснятся по коридору, и стоит

такой крик, что кажется, случилось какое-то несчастье. Скорей бы ехать!.. Бьёт наконец третий звонок, но проходит ещё много времени, прежде чем мы, со скрипом и визгом, будто давя каких-то гадов, трогаемся.

В купе со мной ещё четверо: молодая женщина в чёрной меховой полушубке, с белой косынкой сестры милосердия на голове, молодой офицер в длинной шинели, с необыкновенно узкой тальей, какая-то дама неопределённых лет и господин в пенсне. Этот вошёл последним и, посмотрев на меня, спросил:

– Вы далеко едете... э... э... молодой человек?

– До Холмогорки, – ответил я удивлённо.

– Всего, стало быть, три станции. А я на Москву – ну вот, я ваше местечко и займу.

Он уселся рядом со мной, совсем забыв меня в угол. Сделал он это столь уверенно, что у меня не хватило духу возражать. У него было самоуверенное рыжее лицо, огромный кадык, и говорил он противным тенором, постоянно добавляя: «Н-да-с». Он тотчас же стал есть, достав из саквояжа провизию: варёные яйца, колбасу, копчёные селёдки в корзинке; проводник принёс ему кипяток. Мне этот пассажир стал противен с первого взгляда. Но всё внимание моё привлекала пара: молодой офицер и дама в косынке. Они не были мужем и женой, по моему мнению, и вызывали во мне какое-то волнительное любопытство. И то, как они смотрели друг другу в глаза, на некоторое мгновение дольше, чем обычно, задерживаясь друг на друге взглядом, и то, что он часто – и казалось бы, невзначай – касался рукой или локтем её фигуры, – всё это наполняло меня неизъяснимым напряжением.

– Н-да-с, – заговорил господин в пенсне, – так Гришу-то кончили-с. Дай Бог, настанет для России новая эра!

– Что, кого кончили? – оживился офицер.

– Тсс! – Господин приложил палец ко рту. – Не слышали ещё?.. Великие дела свершаются в Петербурге...

И они стали говорить о непонятных мне вещах. А я всё смотрел на даму в косынке, с незнакомым мне до тех пор любопытством, воспринимая его смутно как нечто греховное; иногда, очевидно, чувствуя мой взгляд, она вскидывала сама на меня глаза, – я постыдно краснел, и у меня леденело странно сердце. В конце концов я вышел в коридор.

У окон стояли группы людей, и до моих ушей вновь долетело это имя: «Гришка». Кто же мог быть этот таинственный Гришка, которого кончили? О Григории Распутине я ничего не знал тогда. Это его убили в тот день. И вероятно, с этого убийства началась страшная, тёмная пора России, ибо никакое добро не начинается со зла и злом не оправдывается. Но тогда, стоя у окна в коридоре вагона, я не думал об этом, не чувствовал, что пришёл конец той России.

В проходе тепло, даже жарко, и окна сверху немного оттаяли. Клубясь, катится под колёсами пар, как будто резвятся молодые котята. Поезд мчит сквозь кораллово-белую чащу леса, иногда вырываются поляны, залитые зелёным лунным светом, и мне почему-то хочется запечатлеть их – вот это дерево там, одинокое, узнаю ли я его на обратной дороге?.. И уже, как всегда в моей жизни, я думаю о конце каникул, думаю с тоской, ещё не начав их, и в то же время кажется невероятным, что придёт действительно их конец, как кажется невероятным теперь, что когда-нибудь придёт конец жизни... Всё сильнее и сильнее затягивает окно, сплошной белой стеной хлещет мимо дым; сквозь прорывы я вижу иногда поля, без границ и без края снега, щиты у железной дороги с высокими наметами снега. И так долго стою я, с чувством своей огромной потерянности в мире великой снежной России без конца и без края...

Поздно ночью приезжаем на железнодорожную станцию, где меня должен был ждать Егор.



III

Егора, нашего работника, я тотчас же замечаю. Он стоит посредине перрона в длинной овчинной шубе в талью, с позументами на груди. И при виде его дом наш, наша деревня, моё недавнее детство – всё это разом оживает, принимает форму, кажется столь близким.

– Егор, Егор! – кричу я с подножки вагона. И мне хочется бежать к нему, броситься на шею, но я удерживаю себя: недавно дал себе зарок не показывать своих чувств, быть сдержанным, строгим, как англичанин... Это является, по-моему, основным правилом для джентльмена.

– Здравствуй, Егор! – говорю я медленно, когда он приближается к вагону. – Хорошо доехал? Как кони? Вот, возьми вещи, отнеси в возок. Да надо будет запрягать.

– Сказал – запрягать! Запряжено уже. С раннего утра здесь находимся. На чугунке-то не пристал? – спрашивает он меня, глядя на поезд и не обращая ни малейшего внимания на мою шинель. – Может, в буфетной чаю выпьем? У меня для тебя провизия есть. Анна Васильевна, – имя моей матери он произнёс особенно почтительно, – снабдила, почитай, на целый месяц.

И хотя у меня нет ни малейшего желания пить сейчас чай, до того мне хочется ехать, я должен подчиниться. В буфетной кисло и едко пахнет старым табачным дымом, керосином от висячей лампы, тускло чадающей под потолком, пахнет овчиной и рыбой – от мужиков, пьющих чай за большим столом, и я с трудом сижу – от тоски меня даже начинает клонить ко сну. А Егор заказал кипяток – два прибора, разделся, разложил свою корзину, и мы пьём чай по крайней мере час.

– Покушай, покушай, – угощает меня Егор и говорит даже в рифму: – Ехать будет теплее, сон охватит скорее.

Он достаёт из корзинки белые пирожки с мясом, с яйцами, с сёмгой, что так бесподобно пекут у нас дома, – мать прислала их мне на дорогу. И как они вкусны после «hygienische Kost»⁵ Амалии – просто тают во рту!

Наконец Егор идёт всё-таки к лошадям. Они стоят за вокзалом у изгороди. Одну из них я узнаю сразу: это Воронко, отец любил запрягать его зимой в сани, а пристяжная мне не знакома. Лошади густо обросли шерстью, снегом – похожи на каких-то лесных мохнатых зверей. Воронко не узнал меня. Напрасно несколько раз я подходил и гладил его по морде – он даже не заржал, только лениво посмотрел на меня одним глазом. А пристяжная была новая – очевидно, отец купил ещё одну лошадь, хотя было их у нас и так без числа, стояли в конюшне без всякой надобности и употребления, только овёс и сено изводили. Прислали за мной, к сожалению, розвальни, а не маленькие санки, как я втайне надеялся. Эти маленькие санки я очень любил. На них отец часто ездил по делам: были они лёгкие, не шли, а летели над землёй. «Воронихин опять поехал догонять ветер», – говорили про отца мужики, когда он ездил в этих санях. В задке розвальней укреплен круглая парусиновая кибитка с пологом впереди, сани дополнены набиты сеном, поверх сена половичок, а для покрытия – огромная медвежья шкура. Для меня присланы заячий тулупчик и валенки.

Пока Егор укладывает и увязывает вещи в передке розвальней, я залезаю под полог в кибитку. В кибитке темно, пахнет слежавшимся сеном. Сначала лежать неудобно, всё время хочется менять положение, но скоро тело осваивается, привыкает, и уже лень пошевелиться. Смутно я слышу, как ходит Егор, подтыкая сено с боков, как остро жуют лошади. Скорее бы ехать!.. Но вот Егор садится в передок, сани вздрагивают. «Но-но, н-но!» – кричит Егор, и со скрипом мы снимаемся с места. И так едем мы медленно, раскатываясь иногда по бокам, мерно

⁵ Гигиеническое питание (нем.).

идут кони, клонит ко сну, а кругом тишина, и нельзя уже сказать, давно ли мы едем?.. С чувством, что мы спускаемся куда-то под гору, в какую-то великую, тёмную тишину, я засыпаю...

Эту первую ночь в кибитке я совсем не помню; осталось лишь смутное впечатление зыби, как будто я спал в лодке и тихо била о борта волна. А когда я проснулся, мы уже стояли. Полог был откинут. Было ещё раннее утро. На зелёном ледяном небе стояло красное, как тюльпан, холодное солнце. В деревне топили печи. Над избами вился столбом дым, пахло печным чадом и ржаным хлебом.

Посерёдке, у колодца, бабы доставали воду, скрипела цепь и шумела бадья, во дворах заливались лаем собаки.

Дни, когда мы останавливались кормить лошадей, казались мне бесконечно долгими, этот первый день в особенности. Где-то непостижимо далеко – ещё шесть дней пути! – лежала наша деревня, наш дом, совсем затерянные в огромном мире, в снегу и далях. Этого чувства дали – без границ и без края, без конца, без начала – не знает Европа. Здесь – всюду границы, одно государство теснит другое. Здесь узкий и обозримый мир, понятный человеку; оттого, вероятно, европеец так самоуверен и самодоволен. А там мы смотрим прямо в Божий космос: в дали, уходящие куда-то внепредельно, в таинственный белый полюс, словно в начало мира, где вечное молчание и первозданная хвала Творцу. И это чувство непосредственного стояния перед Богом, оно-то и отличает нас, вероятно, от Запада и делает во многом непонятными для европейца. У нас иной мир и иной Бог. И втайне мы все, конечно, презираем Европу.

С острым чувством этой беспредельности я долго стоял у окна в отведённой мне горнице, глядя на ледяные белые поля за деревней. Уже давно рассвело, на улице пробежали ребята в овчинных шубках, в шапках-ушанках, в валенках, с матерчатыми сумками через плечо, напоминая мне ещё недавние годы: отец непременно хотел, чтобы я учился в народной школе, и две зимы каждое утро я бегал в нашу сельскую школу, вот как эти ребята, и, кажется, это было самое счастливое время моей жизни.

Хозяин дома уехал в лес за дровами, Егор уснул на полатах, в избе, у печи хлопотала одна хозяйка – молодая баба с высокой грудью и полными плечами. В глазах у неё играет лукавое веселье, и видно вообще, что она рада жить, что молода и полна соку; всё утро она не переставая болтала с Егором, то и дело заливаясь звонким хохотом. И теперь тишина, что стоит в избе, видно, не по ней; она входит в горницу ко мне с тарелкой, полной дымящихся лепёшек.

– Покушай житничков горячих, только что испекла. – Она ставит тарелку передо мной, и в нос мне бьёт густой, тягучий запах горячего ячменного хлеба. – Кабы не пост, я бы тебя чем другим угостила, а в пост сдобного не пекём – грех. А ты не хочешь ли рыжичков?.. Я принесу. – И, откинув дверь, вделанную в пол, она спускается в погреб.

Дом старый, ему лет двести, построен из могучих еловых балок. В первой избе стены не оклеены, дерево блестит благородным смуглым блеском столетий; меж балками лежит мох. Стены уже расселись, деревянный пол накренился к огромной печи, но в избе тепло, домовито, солидно – строили этот дом на века, на нерушимую, непрерывно, как река, текущую, Богом освящённую жизнь. В огромной печи с треском, выбрасывая искры, горят дрова; изгибаясь, текут вверх, в поддымник, огненные языки, течёт дым, густой, как вода. В большом углу, на божнице, под потолком, тёмные образа Спаса, Божией Матери и Николая-угодника, поверх образов – домотканый узорчатый плат, вдоль стены – массивные низкие лавки, напоминающие мне почему-то о древней Боярской думе – всё словно допетровское, русское испокон веков, не занятое где-то на чужбине.

– Рыжички вкусные! – Хозяйка ставит передо мной тарелку крохотных солёных рыжиков. – Сами летось брали – у нас их живёт видимо-невидимо. А сей год... – в её речи есть что-то церковнославянское, – а сей год уродились прямо тучи – не могли выбрать. Старые люди все сказывают, пророчат, быть лиху. Верная примета: гриб тучей – беда неминуча. Перед войной

в лето грибов было – не оберёшься. А ты с картошечкой! – Она приносит миску дымящегося, крупного, рассыпчатого картофеля. – Я тебе маслицу постного улю – нет вкуснее пищи.

И правда, мне кажется, что я никогда ничего не ел вкуснее этих рыжиков с горячим картофелем, приправленных постным маслом. А хозяйка стоит, подперев рукой бок, съедаемая любопытством, смотрит на меня жалостливым взором; лицо её пышет от печного жару.

– А тебе не скучно в городе – одному-то? Домой-то, поди, вот как рад!

– Ах, так много дела, занятий! – отвечаю я важно, хотя мне хочется сознаться, как бесконечно одиноко и грустно мне в городе, но я дал слово не показывать своих чувств.

– А долго тебе учиться-то?

– В гимназии всего восемь лет, а потом ещё четыре года в университете, а может быть, и дольше.

– Ай ты Господи, вот мука-то! Я всего три зимы в школу бегала – думала, не вытерплю... Восемь лет! Скажи пожалуйста. А чего ж ты форменную шинель носишь с пуговицами, аль в офицера выходишь?

– Так полагается, – уклончиво говорю я.

– Для фасону, значит. А что это у ты за книжка – чудно что-то написано, не по-нашему.

– Это немецкая книжка.

– Немецкая! – говорит баба недоумённо. – Неужели они, нехристы, по этим по крюкам читать могут? Вот страсти-то! К нам в деревню, – она оживляется, – ерманцев пленных пригнали. Ничего, смирный народ, только делу мало смыслят. Дьячок с ими говорил – смеху-то, руками машет: «Русс, русс, герман...» Умора! – Она заливается хохотом.



IV

Ещё далеко до полудня, а мне уже надоело читать, надоело сидеть одному в горнице, ждать. Надеваю шинель и иду на улицу. Как большинство северных деревень, она расположена в строгом порядке: дома не разбросаны, как на юге России, где каждый двор – свой отдельный, собственный мир и отчуждение, они лежат в два ряда вдоль главной улицы, вытянувшись, точно по струне. Здесь единый мир, община, почти семейный круг, о котором так мечтали славянофилы, сроднившийся, сложившийся веками. Встречные смотрят любопытно-почтительно на мою тёмно-серую шинель со светлыми пуговицами, на форменную фуражку с серебряными веточками, приветствуют на старинный лад: «Здорово жить» – и при том кланяются в пояс. Солнце ещё тусклое, зимнее, но острые лучи уже роются и сверлят в снегу, изрытые поля похожи на белые бараньи шкуры. На конце деревни пилят лес пленные. Как у всех пленных, у них сизые лица, одежда обветшала, залатана, на ногах, поверх сапог, намотаны тряпки, пахнет от людей тяжёлым, затхлым. Но вид сытый, работают не торопясь, скалят зубы, не умолкая говорят, переругиваются друг с другом.

– Wie geht es Euch?⁶ – спрашиваю я и уже сожалею о вопросе.

Все разом бросают работу, обступают меня, наперебой кричат:

– Kalt, kalt... Unmöglich zu arbeiten!⁷

В этом гаме голосов чужой речи я ничего не могу различить. Их немецкая речь совсем не та, которой учит нас Карл Петрович. Чего они хотят от меня? Кажется, они не жалуются ни на что, кроме холода. После, когда, возвратившись, я сижу у окна в своей комнате, пленные проходят обратно с работы в барак. За ними бредёт один старый часовой. Из домов выскакивают бабы, суют пленным хлеб и ещё что-то, а подав, останавливаются, скрестив руки, долго провожают глазами... Никогда в Европе я не видал этой жалости к бедным, к арестантам, как у русского народа, вероятно, поэтому здесь, на Западе, всегда богаче жили. Но и в России человек становится черствее: за милостыню пленным двадцать лет спустя стали расстреливать, сажать в лагерь и даже возноситься этим.

К полудню вернулся хозяин из лесу. Егор давно уже проснулся. С полатей слез старик, лысый, с огромной сивой бородой, в длинной, пестрядинной рубахе и пестрядинных портках. Он помолился на образа и сел за стол в большой угол. Хозяйка поставила на стол каравай хлеба и дымящуюся миску. Старик перекрестился и стал резать хлеб – длинными, тонкими ломтями. Вокруг стола на лавках сели хозяин, хозяйка, Егор и дети. И, перекрестясь, молча они стали есть – все из одной миски: зачерпнув ложку, медленно несли её ко рту, подставив ладонь, чтобы не расплескать. Они ели молча, степенно, сосредоточенно, и мне нравилась эта первобытная трапеза – так, верно, ели здесь многие века. Ели они уху: был пост, мяса в пост крестьяне в старой России никогда не варили. За первой миской хозяйка принесла и поставила вторую, и опять так же мирно и степенно они хлебали деревянными цветными ложками. Сама миска – тоже цветная, расписанная изображениями сказочных зверей, расписана и деревянная солонка в виде судна викингов. А когда покончили со второй миской, каждый собрал крошки со стола и опрокинул в рот – грех сорить хлеб Божий, этому учила и меня всегда няня Ивушка.

– А что в городе нового? – спросил старик, усаживаясь у окна после обеда. – Давно не бывал, не ндравится мне в городе.

– В городе жизнь весёлая, – ответил Егор, к моему удивлению, ибо он не доезжал до города. – Казёнки царь-батюшка закрыл, а народ пьяной. – Он весело скалил зубы, почему-то весьма довольный тем, что «народ пьяной».

⁶ Как поживаете? (нем.)

⁷ Холодно, холодно... Невозможно работать! (нем.)

– Грех, грех, – шепчет старик. – А что, замирения не слышать? Как насчёт замирения-то? Вот, Петруху требуют. – Он указал на сына. – Кто будет работать? Всё прахом пойдёт. Герман миру не просит – ан?

– Герман всю Рассею хочет взять, – отвечал убеждённо Егор, – хочет наказать, что самого главного царского советника кончили. Царица-то ведь ерманка – ну, слышал? – а у неё советник был ерманский, советника-то её и кончили. Пойдёт теперь ерман до самого Питеру, бунтовщиков, убийцев этих самых шупать.

Егор был фантазёр. В его уме всё принимало какие-то фантастические формы и объёмы, причём сам он был всегда глубоко убеждён, что передаёт беспристрастную истину. И сейчас он, вероятно, слышал что-то о таинственном «Гришке» и создал уже миф.

– Жалости в людях не стало, – прервал его старик, – вот что я тебе скажу. Прежде народ жалостилен был. А теперь – зверь и тот отходчивей. Волк – он разве своего тронет, волка-то? Да будь он при последнем вздохе от голоду – вот как этой зимой, – он те своего ни за что не тронет. А тут люди друг друга ружьём, пушкой – чем попало. Отвернулся от нас, грешных, Господь.

Теперь и я знаю, что этот старик был глубоко прав: в мире стало мало жалости. Для счастья на земле не надо ни политических учений, ни партий, надо, по-видимому, только побольше жалости в человеческом сердце, как старик говорил. Он горевал о том, как нарушена жизнь войной, всё жалел, что семенного быка не купил. «Триста Рублёв просили до войны за бычка, а теперь тысячу требуют. Страсть какая! – ужасался старик. – Тысячу за одного бычка! Да я всю жизнь свою за тысячу проработал. Конец, конец миру. А и чего хорошего ждать?.. Ране народ был степенный, дело вёл со смыслом, перекрестясь, а ныне все куда-то торопятся, рыло у всех скоблёное, бороду секут – все на один лад, прости Господи, лба никто не перекрестит. А всякое дело со лба начинай – тем мир и стоял».



V

Высоко в синем хрустале неба невидимо текли нежные белые тучи – как караваны каких-то неведомых райских белых птиц. В мире был такой необыкновенный свет, была такая прозрачность и тишина, что казалось, в нём не должно было быть ни зла, ни добра, ни вообще страстей. А между тем где-то на самом деле кипела война, до того, впрочем, далеко отсюда, что в неё трудно было даже и поверить. По улице проходили длинные обозы, одни сани за другими, покрытые рогожами. Везли для продажи по деревням свежую селёдку, навагу, которую так вкусно жарили у нас дома. Эти подводы я помнил с самого раннего детства. Сани с покатом набиты мёрзлой рыбой, сверху на рогоже лежат мужики в тулупах, спят, а лошади, мохнатые, увитые снегом, бредут сами, тихо, понутив головы. Монотонно, негромко звенят на дуге колокольчики, скрипят на разездах полозья... Так идут эти возы тысячи вёрст, лошади сами знают путь.

А Егор стал между тем собираться. Предстоящий волок был особенно долгим – до ближайшей деревни около 60 вёрст. Посередине волока, в лесу, было, впрочем, несколько избушек для проезжающих. В плохую погоду, в пургу, там оставались даже и переночевать. Такие избушки стоят на севере в каждом волоке. Проезжающий найдёт в них сухие дрова, спички или кремень, чтоб высечь огонь, соль, а то и сухари и сухую рыбу. Каждая подвода оставляет что-нибудь для следующей.

Вскоре после обеда мы выехали.

И вот опять идёт по бокам снежный строй леса, сани скользят ровно, иногда раскатываясь в колее, отчего ещё более туманит голову, клонит ко сну. Егор уже накрылся с головой овчинным тулупом, лежит не шевелясь. Вожжи висят, лошади бредут сами; негромко, немолчно звенит на дуге колокольчик – единственный звук в этой белой, снежной тишине. Воздух постепенно синееет, густеет, и где-то вдаль над лесом встаёт и плывёт по голубым волнам облаков солнце, как огненный корабль. Всё это вижу я смутно, в полузабытьи, и белые лапы елей кажутся мне сквозь слипающиеся веки воздетыми вверх руками, а деревья – людьми на молитве, в устремлении к небу. И так едем мы сквозь лес и сон... Это самый длинный волок, голодные волки бродят стаями – вспоминаю я тревожно разговор в деревне, но тотчас же тревога слабеет, и вновь смутно, как в ином мире, воспринимаю я скольжение саней, тихий звон колокольчика, холодный звук копыта, ударяемого о другое, мерную, как ход часов, поступь лошадей... Иногда сани берут резко в сторону, проваливаются в снег, слышен звук других колокольчиков, скрипят рядом возы, Егор с кем-то говорит, переругивается – очевидно, мы обгоняем подводы с рыбой. А там опять тишина, трусят ровно кони...

И вдруг разом я прихожу в себя – уже темно, мы едем значительно быстрее, почти рысью, то и дело цокают копыта; слышно, как болтается брюхо у лошадей. Сзади, за нами, не отставая, стоит протяжный вой. Это – волки! Их вой мне давно знаком. Отец часто брал меня по своим поездкам, и я не раз слышал волчий вой. Вероятно, они бегут за нами, скорее всего, одна пара или две; в стаи волки редко собираются, только в большой голод. Бегут они за нами в надежде, что обронят им что-нибудь из саней или бросят подачку. Сами волки на человека редко нападают, разве только обезумеют от лютого голода. Бояться решительно нечего, а всё-таки жутко от этого воя в темноте. Кони всё усиливают бег, храпят... Сон пропадает на время, а потом вновь одолевает – сначала чуткий, короткий, тревожный; но вой становится всё слабее, слабее, пока совсем не пропадает: не знаю, сплю ли я или волки отстали на самом деле?.. Прихожу я в себя от какого-то толчка, рушится тревожно сердце – мы стоим. Вокруг слышны голоса и особенно выделяется один – молодой, теноровый; без усталости что-то рассказывает, жалуется, тянет слезливо:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.